

лигиозно-бытовых движений русского народа. Вып.1 Библиография старообрядчества и его разветвлений. М., 1887

20. Известно, что А.С. Пругавин, будучи секретарем Общества Любителей Российской Словесности в 80-х годах собирал автобиографии писателей для издания. Публикация не состоялась, но Д.Н. Мамин написал для него свою биографию.

21. В связи с этим отмечены № 896 (рецензия проф. Нильского «Несколько слов о расколе (по поводу брошюры Шапова «Земство и раскол»)» (СПб., 1864), в которой автор опровергает политическую подоплеку раскола); № 972 (статья Д.П.. «Новые подвиги наших лондонских агитаторов // Русский вестник. 1862. № 9; где разбирается содержание первых трех номеров «Общего веча»); № 992 (Юзов И. Политические воззрения староверия // Русская мысль, 1882, № 5, где подчеркивается идея о революционной настроенной группе раскольников).

22. № 674 (Отечественные записки. 1881; Русская мысль. 1883, № 11).

23. Костомаров Н. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. СПб., 1895. Т. 2. На листе переплета запись почерком Б. Удинцева: «Эта книга из личной библиотеки Д.Н. Мамина-Сибиряка. Он очень ценил ее и в беседах со мной неоднократно ссылался на статью Костомарова о Никоне. Д.Н. Мамина глубоко возмущали преследования старообрядцев (особенно казнь сожжения в срубе, см. С. 217–218)». В главе о Никоне есть пометы синим карандашом и «птички» на полях.

24. Сборник в память Мельникова. Нижний Новгород, 1910. Т. IX. Почерком Б. Удинцева на внутренней крышке переплета запись: «Книга куплена в Н. Новгороде у букиниста». На титуле его же почерком «Мамин-Сибиряк».

25. Барадаевская-Ясевич В. Очерки из истории сектантских движений в Екатеринославской губернии (Отд. оттиск из «Нового слова» (1887).

26. Д.Н. Мамин сам собирал древние рукописи, переданные им потом в музей УОЛЕ. Воспоминания об этом уральского краеведа Л. Хандроса хранятся в Музее писателей Урала.

© Е.К. Созина
Екатеринбург

СОЗНАНИЕ И МОДУСЫ ЕГО БЫТИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ

В одном из основополагающих исследований по истории литературы XX века В.И. Тюпа пишет: «На наш взгляд, литература – это intersубъективная жизнь Сознания в формах художественного Письма. <...> Литературовед, изучая художественные тексты, не может игнорировать того, что предмет его занятий – эстетические манифестации жизни сознания: индивидуального – корпоративного – национального – обще-

человеческого (ноосфера Земли). Все эти соподчиненные сферы ментальности (кругозоры сознания) так или иначе актуализированы в любом подлинно художественном тексте. <...> Сознание есть ментальная сторона бытия, которая – в отличие от материи – лишена поддающихся описанию дифференциальных признаков, атрибутов. Сознание тоже по своему онтологично и характеризуется собственными модусами, определенными модальностями ментальных актов, или, проще выражаясь, способами быть сознанием»¹

В высказывании ученого фактически уже поставлена проблема – изучение, а точнее, феноменологическое обнаружение (ибо традиционные дискурсивные методы анализа к сфере сознания не приложимы. духовную жизнь, говорил еще Дильтей, не познают, но понимают) неких «модусов» или «модальностей ментальных актов», выражающих себя в литературе. Подчеркиваем: речь не идет о сугубо литературном сознании, ибо оно есть лишь условно выделяемая в науке форма или вид воплощения сознания мирового; речь идет именно о сознании «вообще» как основной «субстанции», порождающем и принимающем лоне духовного, исторического и любого другого творчества. Модусы сознания, выделенные далее Тюпой («роевое», «авторитарное» или «личностно-ролевое», «уединенное», «конвергентное»), – это некие доминантные типы состояний сознания, которые соответствуют диахронии его исторического развертывания в человеческом сообществе; они же могут обнаруживаться в деятельности отдельного духовного «я», ибо коррелируют с этапами не только филогенеза, но и онтогенеза – развития сознания индивидуума. Существенная особенность, определяющая, на наш взгляд, типологический подход Тюпы к проблеме жизни сознания в литературе, – это рассмотрение его в интерсубъективной экспликативности: сознание здесь понимается как со-знание-отношение (относящее человека к Иному как другому: миру, социуму, собственному «я», собственно «другому как другому»); во-вторых, сознание предстает здесь как экзистенциальная характеристика человеческого существования, обеспечивающая его присутствие в мире.

Естественно возникает вопрос с заранее просматриваемым ответом: насколько такой подход может быть единственным и центральным в решении проблемы бытования сознания в сфере литературы? В каждый конкретный период бытия, в каждом индивидуальном и типовом (историческом) воплощении/тексте сознание «существует» (ибо оно не существует: это уступка языку) «синхронно», а следовательно, наверняка можно выделить и иные модусы его «жизни», структурирующие целостную метасферу сознания. В процедуре такой структуриации бытие в сознании служит точкой мета, определяющей дистантное положение сознания в отношении к собственной предметности, его привилегированную точку обсервации. Как замечает современный философ, «Структурное описание и возможно лишь потому,

что возможна саморефлексия. Точнее, определенная и акцентированная направленность на Я. Сознание структурируемо, поскольку слишком плотно притерто к языковой механике»². Эта «притертость» вызывается, с одной стороны, неотрывностью сознания от языка в процессе его реального функционирования (а вне функционирования сознание вряд ли поддается структуризации – оно чисто виртуально), с другой же стороны, языковой тоталитаризм, господствующий в «науках о духе» XX столетия, оказывает влияние на неклассическую аналитику сознания и, соответственно, на современную методологию работы с формами его презентации в письме. Так, например, трансцендентальная функция знака в философии Деррида определяет не только синтез времени, но и – через него – само человеческое присутствие как присутствующее сознание, выведенное в мир и означающее его события «в рамках культурных горизонтов этого мира – горизонтов сигнификации»³.

Мы выделяем несколько возможных (т.е. со-возможных) путей рассмотрения функционирования сознания в литературе. 1. Дискретно-континуальная природа сознания (дискретная – с позиций его анатомирующего описания: для наблюдающего субъекта быть в сознании «все время» фактически невозможно; континуальная – с позиции жизни сознания «в себе»; совокупность этих определений оказывается равнозначна синтезированию в сознании имманентного с трансцендентным) получила свои проекции-модусы, структурирующие его метасферу, в «беседах о сознании» М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского⁴. В плане субъектной отнесенности это состояние сознания, в плане объектной – структура сознания. Указанные категории позволяют с совершенно особой точки зрения посмотреть на литературный процесс и обнаружить в нем некие «сгустки» смыслов, протраивающие «тело» культуры и не зависящие от конкретики исторических и социально-политических обстоятельств, не детерминируемые системой причинно-следственных связей. Вхождение того или иного художника в определенную структуру сознания знаменует «тождество нетождественного» (наряду с «нетождеством тождественного»), т.е. некую общность смысловых полей авторов, обладающих совершенно разными мировоззренческими установками, исповедующих разные принципы творчества и т.п. Достаточно традиционным «знаком» (денотатом-индикатором) структур сознания в литературоведении выступают так называемые «вечные типы», «вечные образы», «бродячие сюжеты», лейтмотивы и т.д. – то, что, используя метафорический язык К. Юнга, мы называем литературной или культурной архетипией. Схождение «нетождественного» обнаруживается также в состояниях сознания, которые знаменуют соотношенность субъекта с собственно психикой и могут быть спроецированы на духовные состояния отдельных эпох; обычное и соответствующее данной категории метафорическое обозначение – «дух времени». По-видимому, существуют особые эпохи, сверхзначимые в плане смыслообразования

для последующих «сезонов» истории, эпохи, когда происходит «открытие сознания» (А.В. Ахутин) – это особое, феноменальное состояние в жизни мирового сознания. Так, например, в России XIX столетия такой эпохой явились 1830-е годы.

2. Категории «структура сознания» и «состояние сознания» с успешностью применимы к крупным синтетическим образованиям по типу литературно-культурных эпох, а также к характеристике целостности таких феноменов, как произведение (текст), поэтический мир, содержательность которых определяется длением некоторых состояний сознания. Внутри этих единств привилегированная точка сознания реализует себя в порождающей деятельности письма или письменности как производящей смыслоразличение – различение себя и Иного, в чтении-письме текста – содержательно воплощенной формы бытия сознания: в нем сознание читает себя (ср.: «В принципе можно было бы сказать, что текст как содержание есть «нечто читаемое сознанием»»⁵). В этом плане особое значение приобретает исследование нарративных стратегий письма и повествовательных структур текстов. В современной гуманитаристике нарратив понимается довольно широко – это «имя некоторого ансамбля лингвистических и психологических структур, передаваемых культурно-исторически»⁶ и созидательно организующих наше восприятие мира и самих себя. «Мыслить сознательно, – говорит Р. Харре, – значит рассказывать себе истории»⁷. Нарратив – это способ самоописания сознанием себя; в его внутреннем пространстве мы наблюдаем совмещение таких характеристик времени, как его текучесть и последовательность – и пребывание, отраженных в хайдеггеровском определении времени как будущего-которое-идет-в-прошлое-входя-в-настоящее («Бытие и время»), в концепте «выражение» Мерло-Понти, в идее времени как дара несуществования Деррида.

Сознание, как известно, всегда «пребывает» или «стоит» (в этом смысле быть в сознании – это быть вне времени; обретенное время – это время, «ставшее» сознанием) Субститутами цепочки временных «сейчас» в их пребывании являются сюжетные события произведения в отношении к повествовательным инстанциям текста. Функциональность сознания в литературе XIX века проявляется в создании системы «искусственного правдоподобия» (Ж. Женетт⁸), актуальной в период складывания новой техники классического русского и западноевропейского романа середины столетия, традиционно именуемого романом критического реализма. Система «искусственного правдоподобия» или нарративной мотивации реализует сигнификативную сторону языкового знака, т.е. сторону, непосредственно обращенную к осмыслению соотношения единичного с общим (значением) и может быть рассмотрена как своего рода метатекст сознания, эксплицирующий реакцию сознания на свою включенность в письмо. Одновременно с тем, анализ повествователь-

ных мотивировок или максим, формирующих аналитическую манеру повествования в русском романе 1840–60-х годов (А. Герцена, И. Гончарова, И. Тургенева, Л. Толстого и др.), позволяет нам уточнить представление о качественном своеобразии метода «критического реализма», ибо таковой метод, по нашему представлению, в истории литературы безусловно существовал и обладал своей языковой (знаковой) доминантой как особым смысловоразличительным и мирообразующим свойством.

3. Особенно явно интенциональность сознания в отношении к собственной сфере проявляется на уровне субъектной структуры текста: здесь разыгрывается дискурс (событие высказывания) сознания внутри «я» как его субъективной объектности («я» может выступать и в качестве структуры, и в качестве состояния сознания, в зависимости от положения точки «мета») Развитие субъектных форм повествования в литературе – это развитие способов представления сознанием себя и осознания своей собственной жизни. В движении литературы XIX–XX веков можно наблюдать, как сознание из области предметно-содержательной, задающей в произведении проблемно-тематическое поле смысловых горизонтов (как в творчестве И. Тургенева, А. Герцена, Л. Толстого и мн. др.), переходит в статус привилегированной точки обсервации себя и мира (в этом плане ключевой текст XIX века – «Записки из подполья» Ф. Достоевского), для которой характерны свойства сингулярности – конструирования со-возможных миров. На этой основе создается так называемый «роман сознания» (понимаемый как метажанровое образование), наиболее репрезентативный у М. Пруста – «В поисках утраченного времени» (см. лекции М. Мамардашвили о Прусте) и И. Бунина – «Жизнь Арсеньева», что, естественно, не исключает возможности нахождения этой формы у других художников. Характерно, что складывание «романа сознания» происходит в русле автобиографической прозы и сопровождается феноменологической процедурой визуализации прошедшего. В субъектной структуре произведения формируется особый, многомерный тип фокализации: точка зрения автобиографического героя – это объектная интенция воспринимающего свое прошлое носителя сознания, точка зрения повествователя – субъектно-моделирующая инстанция, внутри нее выделяются позиции собственно субъекта повествования (субъекта речи), «автора-визуалиста» (воспринимающее сознание), «автора-резонатора», проблематизирующего ситуацию своего видения прошлого, рефлектирующего именно на такой вид воспоминаний и на самую избирательность своей памяти. Высшей точкой автобиографического «романа сознания» в русской литературе, мы полагаем, является упомянутое произведение Бунина в совокупности с прилегающими к нему автобиографическими рассказами писателя, однако такого рода письмо в ходе XIX века

созревало в творчестве С. Аксакова, Л. Толстого, А. Герцена, Н. Лескова.

Заключая этот краткий экскурс модусов сознания в литературе, следует сказать, что привилегированная точка «мета», точка сознания, позволяет осуществить некий более свежий взгляд на динамику и содержание как литературного процесса в целом, так и творчества отдельных писателей.

Примечания

1. Тюпа В.И. Постсимволизм: Теоретические очерки русской поэзии XX века. Самара, 1998. С. 6.
2. Харитонов В.В. Возможность произведения: к поэтике философского текста. Екатеринбург, 1996. С. 54.
3. Гурко Е. Тексты деконструкции. Деррида Ж. *Differance*. Томск, 1999. С. 73.
4. Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание: Метафизические рассуждения о сознании, символическом и языке. М. 1997
5. Там же. С. 65.
6. Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы // Вопросы философии. 2000. № 3. С. 30.
7. Харре Р. Грамматика и лексика – векторы социальных представлений // Вопросы социологии. 1993. № 1/2. С. 121.
8. Женетт Ж. Правдоподобие и мотивация // Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике: В 2 т. М., 1998. Т.1. С. 299–321.

© Т.В. Соловьева
Псков

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ В.К. ТРЕДИАКОВСКОГО

Развивающаяся, можно сказать, замкнуто, как в лаборатории, где каждый опыт призван, прежде всего, ответить на вопросы самого экспериментатора (иногда самым непредсказуемым образом), поэтика В.К. Тредиаковского необъяснима по аналогии с поэтическими системами его современников. От силлабических виршей к силлабо-тонике Тредиаковский шел самостоятельно: превосходно зная историю европейского стиха, он в то же время старался интуитивно определить для национальной формы стиха путь самобытного развития. Немецкая силлабо-тоника (в лице Пауса, Спарвенфельда и др.) имела сильное влияние на формирование русской силлабо-тонической системы, но ее воздействие, кажется, в большей степени испытал на себе М.В. Ломоносов. Тредиаковский же сознательно ориентировал собственную поэтику на русскую песенную традицию и поэзию «калик переходных», (то есть кантовую поэзию монахов, странствующих и исполняющих свои произведения – после запрещения их в монастырях).